

СИМВОЛИКА МЕСТА ВО ВТОРОМ ТОМЕ “МЕРТВЫХ ДУШ”

© 2009 г. В. Ш. Кривонос

В статье рассматривается актуальная для второго тома “Мертвых душ” проблема антропологии и онтологии места, важная для понимания авторского замысла незаконченного произведения. Особое внимание уделяется принципам символизации изображаемого и символическим значениям места.

The paper considers the problem of anthropology and ontology of the place which is essential to the second volume of Gogol's “The Dead Souls”. The analysis of this concept is extremely important for our understanding of the artist's intention in the unfinished work. A special attention is paid to principles of symbolization of the picture and to the symbolic meaning of the place.

История работы Гоголя над вторым томом “Мертвых душ” подробно освещена в научной литературе; установлено, что им были окончательно завершены только первые главы, текст которых отличался от сохранившихся и известных нам черновиков “...не сюжетно, а стилистически – более тщательной отделкой поэмы” [1, с. 146]. Сохранился и черновик главы, условно названной “заключительной”; хронологически она относится к сожженной Гоголем в 1845 г. рукописи, представлявшей собою раннюю редакцию второго тома. В “Выбранных местах из переписки с друзьями”, объясняя причины и мотивы сожжения и размышляя, каким должен быть второй том, Гоголь так определял свое писательское назначение: “Дело мое – душа и прочное дело жизни” [2, с. 299]. Возможно, материал и идеи главы, в которой именно тема души и прочного дела жизни приобретает символическое звучание, Гоголь собирался использовать (почему она и не была уничтожена) в новой редакции (см.: [3, с. 189–192]).

Понятна осторожность исследователей, полагающих, что обращение ко второму тому поэмы неизбежно связано с догадками и предположениями, не всегда находящими опору в тексте (см.: [4, с. 153–154]). Верно, однако, с учетом всех оговорок, и то, что “...особенности второго тома производят впечатление вполне закономерных” [5, с. 192] (ср. попытку рассмотреть второй том “как жанровое целое” [6, с. 222]). Это касается и принципов организации пространства во втором томе в сравнении с первым, где активизировалась «...не оппозиция “ограниченное – неограниченное”, а “направленное – ненаправленное”» [7, с. 288]. Отсюда особая роль – в первом томе – дороги как формы пространства, делящей героев на движущихся и статичных [7, с. 290]. Причем дорога выступает здесь не только как конкретный пространственный образ, но и как образ метафо-

рический, насыщенный символическими значениями (см.: [8, с. 260]; ср. также: [9, с. 125–127]).

Однако во втором томе дорога, будучи локусом не “своим” и не “чужим”, но “промежуточным” (ср. представление о дороге в традиционной культуре: [10, с. 98]), утрачивает значение одной из основных пространственно-символических форм. Это связано с акцентированием здесь периферийной для первого тома оппозиции “ограниченное – неограниченное”, а также с сюжетно выраженным стремлением героя выйти из состояния неопределенности, чреватого отсутствием статуса (неопределенность Чичикова связывает его с дорогой и потому, что в дороге человек “символически – без статуса” [11, с. 40]), и отождествиться с локусом, который стал бы для него “своим”. В пределе – домом, символом оседлого бытия, в оппозиции к которому обычно определяется дорога, символ подвижного бытия (см.: [11, с. 25]). Вообще, для изображенных во втором томе персонажей оседлость оказывается более значимым свойством, чем подвижность (или свойством, органически с ней сочетающимся). Имеется в виду прежде всего оседлость символическая, внутренняя, свидетельствующая о тождестве персонажа не только “своему” локусу, но в первую очередь самому себе.

Откликаясь на “Выбранные места”, Ап. Григорьев особо выделил признак отмеченной Гоголем “всеобщей болезни”: “в каждой личности отдельно таится еще злой и страшный недуг безволия, или, точнее сказать, рассеяния сил, потерявших в человеке центр, точку опоры” [12, с. 117], почему так важно “навести” человека “на мысль о сосредоточении, о собрании себя всего в самого себя” [12, с. 118]. На языке позднего Гоголя «это внутреннее дело обновления и самовосстановления человека называется его возвращением в “самого себя”...» [13, с. 159].

Обращаясь в 40-е годы к “внутренним силам человека” [4, с. 150], Гоголь и во втором томе “Мертвых душ”, как и в своей публицистической книге, ставит проблему обретения человеком в самом себе *центра и точки опоры*; отсюда – деление персонажей не на движущихся и статичных, а на способных и не способных к *собранию себя в самого себя*. Речь идет не просто об изменении гоголевской антропологии в связи “с развитием идеи внутреннего человека” [6, с. 232], но об иной, чем в первом томе, антропологии пространства (т.е. соотносительности образа пространства с образом человека), конкретнее – об антропологии места. Потому что принципиальная роль во втором томе, где особое значение приобретает способность персонажей к самососредоточению, принадлежит именно месту, то есть такой пространственно-символической форме, которая обладает специальным антропологическим измерением (см. о понятии места: [14, с. 163]).

Для понимания символики “Мертвых душ” исключительно важным кажется «...вопрос о всепроникающей символической смысловой энергии, которая излучается иносказательными “сверхсмыслами” финала на весь предшествующий текст первого тома» [15, с. 16]. Что касается заключительной главы второго тома, то была отмечена “...близость ее содержания к заключительной главе первого тома (параллелизм их построения, видимо, входил в планы писателя)” [4, с. 155] (см. также: [3, с. 191–192]). Ср. мнение комментаторов: “Бросается в глаза строго выдержанный на протяжении всей этой главы тематический параллелизм с последней, XI главой первого тома. <...> Параллели эти позволяют предположить стремление к симметрии заключительных глав каждой части поэмы” [16, с. 403]. Но одной только близостью содержания дело, видно, не ограничивалось; можно предположить, что и во втором томе его финальная часть, по замыслу Гоголя, призвана была символически освещать все происходившее в предшествующих главах.

В первой главе “рыданья” Тентетникова, которому “жизнь его” казалась “противной и гадкой”, значили, что “не успел образовать<ся> и окрепнуть начинавший в нем строиться высокий внутренний человек...” [16, с. 22–23]. В заключительной главе Чичиков “...выехал наконец из города в каком-то странном положении. Это был не прежний Чичиков. Это была какая-то развалина прежнего Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояние души с разобранным строением, которое разобрано с тем, чтобы строить из него же новое; а новое еще не начиналось, потому что не пришел от архитектора определенный план, и работники остались в недоумении” [16, с. 124]. Оба тома заканчиваются выездом Чичикова из города, однако во втором томе

настроение его существенно иное, чем в первом, где герой, которого несет тройка, “...только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду” [17, с. 246]; здесь же оно гораздо ближе к настроению Тентетникова.

Прямые и обратные связи, пронизывающие повествование в первом томе, усиливают «“сквозное” действие символизирующей тенденции» [15, с. 26], показательными проявлениями которой оказываются “скачки к символическим обобщениям в последних главах тома” [15, с. 29]. К финальному же образу птицы-тройки “стягиваются все начала и все концы поэмы” [18, с. 162]. Во втором томе тенденция к символизации обнаруживается прежде всего в маркированных образно-тематических перекличках заключительной главы с первыми главами, перекличках весьма знаменательных даже с учетом пропущенных (если не прибегать к гипотетической реконструкции гоголевского замысла; см.: [3, с. 229–237]) сюжетных звеньев. Причем если в первом томе вторжение случайности, мотивированное функциями дороги, заметно ослабляет сюжетное значение “причинно-следственных сцеплений” [15, с. 26], то во втором причинно-следственная мотивировка событий, напротив, усиливается, подчеркивая сюжетно-семантическую связь героев и места.

Так, состояние выезжающего из города Чичикова объясняется случившимся с ним накануне событием и пережитым потрясением. Потрясение это – знак назревающего нравственного переворота, который произошел бы, как задумывал Гоголь, в третьем томе, в Сибири, где мог бы оказаться (вслед за Тентетниковым, которого еще во втором томе ожидала сибирская ссылка) гоголевский приобретатель (см.: [3, с. 267–268]). В трехчастной структуре “Мертвых душ” Сибири была уготована писателем «роль мифологического момента “смерть – нисхождение в ад”», за которым следует “воскресение и перерождение” [19, с. 339]. Но пережить символическую смерть и спуститься в символический ад Чичикову предстояло уже в заключительной главе второго тома, результатом чего и становится *странное положение героя, внутреннее состояние души* которого уподобляется *разобранному строению*.

Гоголь объяснял в “Выбранных местах”, что если бы он ограничил себя во втором томе поэмы задачей изобразить “несколько прекрасных характеров”, то возбудил бы у читателей “только одну пустую гордость и хвастовство”: “Нет, по мне уже лучше временное уныние и тоска от самого себя, чем самонадеянность в себе. В первом случае человек, по крайней мере, увидит свою презренность, подлое ничтожество свое и вспомнит невольно о Боге, возносящем и возводящем всё из глубины ничтожества; в последнем же слу-

чае он убежит от самого себя прямо в руку к чорту, отцу самонадеянности, дымным надмением своих доблестей надмевающему человека» [2, с. 298]. Комментируя это рассуждение, С.Г. Бочаров пронизательно связал его с гоголевской философией и картиной человека: «Грех отрывает человека от “самого себя”, творит на месте целого человека словно бы две фигуры, и все это Гоголю представляется так наглядно – в виде пространственного отделения и отрыва, “убегания” внешнего человека от внутреннего» [20, с. 111]. Свойством внешнего человека и оказывается *самонадеянность в себе*, тогда как внутреннему человеку присуща *тоска от самого себя*, парадоксальным образом к *самому себе* и возвращающая.

В рассуждении писателя очерчена схема сюжета, принимающего в заключительной главе именно такое развитие, и определен вектор этого развития, разрушающего привычную для героя инерцию существования, когда *убегал* он после очередных плутней *от самого себя*, хотя казалось ему (в чем и других уверял), что от “неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его...” [17, с. 13]. Не только Гоголя, но и его пластичного героя, легко приспособляющегося ко всякому окружению и к новой обстановке, пространство страшит тем, что “в любой момент может трансформироваться неожиданным образом...” [21, с. 18]. В первом томе Чичикова могли напугать, и напугать сильно, так что душа его “спряталась в самые пятки” [17, с. 87], Ноздрев с его дворовыми людьми, угрожавший побоями. Слухи, будто он собирался увезти губернаторскую дочку, тоже навели “на него порядочный испуг” [17, с. 215]. Но страхи эти были ситуативными и к радикальным внутренним изменениям привести все же не могли. Подлинное потрясение, чреватое нравственным переворотом, настигает героя в самом конце второго тома. Нужно было только подходящее место, чтобы Чичиков *вспомнил невольно о Боге* и не убежал вновь и окончательно *от самого себя*; в заключительной главе автор и находит такое место, где герой, пережив *временное уныние*, смог бы открыть в себе внутреннего человека.

Примерив новый фрак “наваринского пламени с дымом” [16, с. 106] и любясь собою в зеркале, Чичиков неожиданно получает приказание явиться к генерал-губернатору, который велит отвести его в острог и там ожидать “разрешенья участи своей” [16, с. 107]. Внезапный поворот сюжета означает и столь же внезапный для героя поворот судьбы, ведущей его напрямик в пространство смерти: “Он был бледный, убитый, в том бесчувственно-страшном состоянии, в каком бывает человек, видящий перед собою черную, неотвратимую смерть, это страшилище, противное естеству нашему” [16, с. 109].

Происходящее с ним Чичиков и воспринимает как переход из жизни в смерть; его внутреннему состоянию, состоянию *бесчувственно-страшному*, соответствует *страшное и противное естеству* место, куда он попадает: “Промозглый, сырой чулан, с запахом сапогов и онуч гарнизонных солдат, некрашенный стол, два скверных стула, с железной решеткой окно, дряхлая печь, сквозь щели которой только дымило, а тепла не давало, вот обиталище, где помещен был наш <герой>, уже было начинавший вкушать сладость жизни и привлекать внимание соотечественников, в тонком новом фраке наваринского пламени и дыма. <...> Он повалился на землю, и безнадежная грусть плотоядным червем обвилась около его сердца. С возрастающей быстротой стала точить она это сердце, ничем не защищенное” [16, с. 109].

Описание *чулана*, где оказался Чичиков, соответствует типичному для гоголевского времени состоянию тюрем, где обыкновенными были “сырость, холод, грязь и теснота” [22, с. 223]. Но существенны здесь не физические характеристики, а символические черты места чичиковского заключения; ср. описание авторитетным для Гоголя духовным писателем “темницы”, где томятся “осужденники”: “Все темно, все зловонно, все нечисто и смрадно”; осужденных “самое видение сего места располагает к плачу и наставляет на всякий подвиг покаяния” [23, с. 66]. Чичиков, охваченный грустью, тоже расположен *к плачу*: “...он громко зарыдал голосом, проникнувшим толщу стен острога и глухо отозвавшимся в отдалении, сорвал с себя галстук и, схвативши рукою около воротника, разорвал на себе фрак наваринского пламени с дымом” [16, с. 110].

Поступок Чичикова глубоко значим: «Сказочно-мифологический мотив освобождения от “шкуры” помогает увидеть в этом попытку внутреннего изменения героя» [24, с. 91]. Отметим, что цвет чичиковского фрака – наваринского пламени с дымом, то есть красновато-коричневый (см.: [25, с. 175]) – символически соответствует месту, где он оказался. Как тюремная жизнь традиционно приравняется к смерти, а преступник должен почувствовать себя умершим, так сама тюрьма уподобляется аду (см.: [26, с. 22–25]). Ад же мыслится как “место вечно пылающего огня”, почему и получает название “геенна огненная” и “пекло” [27, с. 17]; попадающих в ад ожидает пытка огнем (см.: [28, с. 30, 39]). Не случайно в сознании повествователя, говорящего об охватившей героя грусти, возникает образ червя, напоминающий об участии нераскаившихся грешников, отступивших от Бога, об ожидающем их тлении, когда “...будут они мерзостью для всякой плоти” (Ис. 66: 24), а также об отношении к соблазнам (ср.: Мрк. 9: 44–48) и о муках совести, “какие будет чувствовать грешник после смерти” [29, с. 63]. Ситуация переживаемой Чичиковым

временной смерти должна не только побудить его к плачу, но и наставить на *подвиг покаяния*.

Попав в тюрьму, узник испытывает обычно состояние психологического шока и переживает глубокий эмоционально-психологический стресс (ср.: [30, с. 89]). Изоляция в замкнутом и тесном пространстве провоцирует подавленность и упадок духа, вызывая ощущение близости смерти; если тюрьма “характеризуется и описывается как ад”, а тюремная жизнь “строится по законам ада” [26, с. 30], то ад, замкнутость в котором ужасает, напоминает “тюремную камеру” [28, с. 30]. Для позднего Гоголя характерно предельное усиление символизации изображаемого; ср. интерпретацию образа города Первым комическим актером в “Развязке Ревизора”, призывающим взглянуть на себя “глазами Того, Кто позовет на очную ставку всех людей”: “Ну а что если это наш же душевный город и сидит он у всякого из нас?” [31, с. 121]. Душевные муки грешника, выражая состояние “богооставленности”, свидетельствуют, что “ад локализовался в душе” [28, с. 41]; то же происходит и с гоголевским героем, в душе которого, забывшей о Боге, локализуется тюремный ад.

Если ад – “лишь кривое зеркало мира” [28, с. 18], то тюремный ад служит кривым зеркалом души героя, которого заботит не ее мертвенность, а то, что шкатулка, “где были деньги”, и “крепости на мертвые <души>, всё было теперь у чиновников” [16, с. 109]. Между тем смысл происходящего, оставаясь темным для Чичикова (сохраняющего, что типично даже и для кающихся грешников, свои “старые привычки”, овладевшие “мучительным образом” его мыслями), имеет прямое отношение к его падению, случившемуся, чего не может постигнуть “никакой ум”, то ли “от нерадения”, то ли “попущением Промысла”, то ли “по оставлению Божию” [23, с. 69]. Место и ситуация, повергая героя в отчаяние, то есть “состояние онтологической бездомности, изгнанности из дома”, призваны напомнить ему, что “дом души – близ Бога” [28, с. 42]. Чичиков, подобно всем тем, кто забыл об этой непреложной истине, словно специально поставлен “...в условия, которые наглядно говорят нам о том, что мы погибаем, что надо спастись” [32, с. 155] (ср.: “Пространство тюрьмы может осознаваться как спасительное и искупительное” [26, с. 36]).

Муразова, встретившегося ему, ведомому жандармами, “в дверях на лестницу”, он молит: “Спасите, ведут в острог, на смерть” [16, с. 109]. И чудо происходит: когда Чичиков и в самом деле оказывается на пороге смерти, “...двери тюрьмы растворились; взошел старик Муразов” [16, с. 109]. Называя Муразова *спасителем*, Чичиков просит помочь ему “освободиться”, чтобы мог он возвратить свое “имущество”: “Клянусь вам, повел бы

отныне совсем другую жизнь” [16, с. 112]. Но он и Муразов по-разному представляют себе эту *другую жизнь*: «“Ах, Павел Иванович, Павел Иванович”, говорил старик Муразов, качая <головой>: “как вас ослепило это имущество. Из-за него вы и бедной души своей не слышите”» [16, с. 112]. Возможность подлинного спасения зависит от способности Чичикова прозреть и услышать голос своей *бедной души*.

Жалуясь на удары судьбы, Чичиков “зарыдал громко от нестерпимой боли сердца” и “безжалостно рвал” на себе волосы: “Долго сидел молча пред ним Муразов, глядя на это необыкновенное <страдание>, в первый раз им виданное” [16, с. 111]. Сострадая Чичикова, Муразов ведет себя подобно праведнику, когда тот, сошедши в ад и созерцая муки грешников, “...не мог не испытать сочувствия к окружившим его теньям” [28, с. 24]. Увиденное им *необыкновенное* страдание обнаруживает исключительность характера героя, отмеченную в первом томе автором, излагающим его биографию: “И точно, самоотвержение, терпение и ограничение нужд показал он неслыханное” [17, с. 228]. Скрытые в Чичикове внутренние возможности открываются и Муразову: “Назначение ваше – быть великим человеком, а вы себя запропастили и погубили” [16, с. 112].

Автор называет Чичикова “несчастный ожесточенный человек” [16, с. 111], “бедный Чичиков” [16, с. 112]. Используемые им эпитеты указывают, что автор сочувствует и сострадает грешному своему герою. Сочувствует ему и Муразов, видящий, что Чичиков потому грешит, что спит его душа: “Эх, Павел Иванович, зачем вы себя погубили? Проснитесь: еще не поздно. Есть еще время” [16, с. 113]. Поведение Муразова, наделенного “прямыми проповедническими функциями” [24, с. 166], определяется его ролью “вожатого, духовного учителя, стража и защитника слабых, смятенных душ” [33, с. 294]. И встреча его с Чичиковым, подобно евангельским встречам, позволяющим “...прозреть что-то в человеке, что не есть тьма, а есть истинный человек в нем” [34, с. 188], несет в себе возможность такого прозрения. Так Муразов сближается в отношении к Чичикову с автором, не просто сочувствующим своему герою, но стремящимся разглядеть в нем *истинного человека*.

В первом томе Чичиков явно лицемерит, когда, прибыв в город NN, уверяет тамошних чиновников, “что теперь, желая успокоиться, ищет избрать наконец место для жительства...” [17, с. 13]. Об этом своем желании он говорит и во втором томе, представляясь Бетрищеву: “...на склоне жизни своей ищу только уголка, где бы провести остаток дней” [16, с. 39]. Следуя всё тому же *плану*, он выпрашивает у генерала мертвые души, “как бы они были живые” [16, с. 44], и как

будто вновь лицемерит. Однако пример Костанжогло, открывшего ему путь честного обогащения, побуждает его всерьез задуматься, "...как сделаться помещиком не фантастического, но существенного имени" [16, с. 76]. Именно таким, как Костанжогло, *хозяином* (идеализированное изображение Костанжогло ориентировано на «...архетип "хозяина" в народной обрядовой поэзии» [24, с. 71]) он хотел бы стать: "Уже он видел себя действующим и правящим именно так, как поучал Костанжогло..." [16, с. 77]. Купив же имение Хлобуева, Чичиков почувствовал "...удовольствие от того, что стал теперь помещиком, — помещиком не фантастическим, но действительным, помещиком, у которого есть уже и земли, и угодья, и люди" [16, с. 89]. Если в первом томе Чичиков предстает как человек без *своего* места, то во втором возникает проблема тождества героя месту, которое он хотел бы считать *своим*.

Приметы изображенного в начале второго тома пейзажа соответствуют, как было отмечено, «...традиционной райской топологии, обозначая черты "земного рая"» [6, с. 223]. Вид, открывающийся на деревню Тентетникова, вызывает знаменательные ассоциации и у самого героя, решившего оставить чиновничью службу в Петербурге, чтобы исполнить обязанности помещика: "Судьба назначила мне быть обладателем земного рая, а я закабалил себя в кропатели мертвых бумаг" [16, с. 19]. Ср.: "Эта антитеза придает образу земного рая открыто дидактический характер, напоминая о центральной для христианской этики оппозиции живого (духовного) и мертвого (бездуховного), вечного и тленного, горнего и дольного" [24, с. 55]. Однако уделом Тентетникова, не испытанного "измлада в борьбе с неудачами" и не способного "возвышаться и крепнуть от преград и препятствий" [16, с. 23], становится сон души. Герой, чье "состояние души" [16, с. 26] столь разительно не соответствует назначенному ему судьбой райскому месту, недаром кажется Чичикову, который сам не прочь сделаться "мирным владельцем подобного поместья" [16, с. 31], то ли *дураком* [16, с. 33], то ли *чудаком* [16, с. 34]. Если в пейзаже акцентируется живое, вечное и горнее начало, то *состояние души* героя выражает начало мертвое, тленное и дольное.

Сотворенное не природой, а самим человеком *райское* пространство представляет собой поместье Костанжогло, в образе которого "...выведен как бы современный вариант древнего культурного героя, создателя и благодетеля человечества" [35, с. 84]. Идентифицируя себя с местом, им освоенным и преображенным, Костанжогло декларирует необходимость образа жизни, соответствующего характеру места: "Здесь именно подражает Богу человек. Бог предоставил себе дело творенья, как высшее всех наслаждение, и требует от человека также, чтобы он был подобным

творцом благоденствия вокруг себя" [16, с. 73]. Не только богатством, но прежде всего гармоническим слиянием с местом Костанжогло и поражает воображение Чичикова: "Чудный хозяин так и стоял пред ним ежеминутно" [16, с. 77].

В первом томе о "неодолимой силе его характера" говорит способность Чичикова вновь и вновь вставать даже после катастрофических падений, чтобы приняться за новые авантюры, на которые обрекает его движущая им "непостижимая страсть": "Теперь можно бы заключить, что после таких бурь, испытаний, превратностей судьбы и жизненного горя он удалится с оставшимися кровными десятью тысячками в какое-нибудь мирное захолустье и там заклёкнет навеки в ситцевом халате у окна низенького домика, разбывая по воскресным дням драку мужиков, возникшую пред окнами, или для освежения пройдясь в курятник пощупать лично курицу, назначенную в суп, и проведет таким образом нешумный, но в своем роде тоже небесполезный век. Но так не случилось" [17, с. 238]. А во втором томе Муразов дает Чичикову совет, явно противоречащий характеру героя, до сих пор не склонного смирять свои притязания: "У вас есть уже чем прожить остаток дней. Поселитесь себе в тихом уголке, поближе к церкви и простым, добрым людям, или, если знобит сильное желание оставить по себе потомков, женитесь на небогатой, доброй девушке, привыкшей к умеренности и простому хозяйству. Забудьте этот шумный мир и все его обольстительные прихоти" [16, с. 113].

Сила характера Чичикова, действительно *неодолимая*, должна проявиться теперь в сосредоточении в самом себе, в *собрании себя в самого себя*. Жизнь вблизи церкви означает попытку возвращения его души в отцовский дом, в настоящий дом души, который мог бы стать для Чичикова *своим* местом. Логика отношения Муразова к Чичикову тождественна по смыслу логике отношения отца к блудному сыну: "был мертв и ожил, пропадал и нашелся" (Лк. 15: 24). Был мертв, то есть пребывал в грехе; ожил, то есть раскаялся [29, с. 225]. Ср. комментарий к притче о блудном сыне: "Как отец, обнимающий возвратившегося к нему непокорного сына, Бог принимает кающегося грешника с великой радостью" [29, с. 223].

Генерал-губернатору, от которого зависит участь Чичикова, зачисленного им в "мерзавцы", Муразов, полагая, что "от греха всяк близок", говорит: "Как же не защищать человека, когда знаешь, что он половину зол делает от грубости и неведения?" [16, с. 119]. И, напоминая о допущенной самим генерал-губернатором несправедливости в другом деле, просит проявить милосердие и освободить Чичикова, чтобы не закрылась перед ним возможность раскаяния и возвращения к Богу. Так "духовный человек", следующий парадок-

сальной морали любви, отпускает преступившего закон “на милость Божию” [36, с. 280]. Как сказал в подобной ситуации один из пустынножителей, авва Алоний: “Бог Сам все рассудит” [37, с. 203]. Гоголь, работая над вторым томом, специально выписал важную для себя мысль одного из святых отцов: “Милосердие необходимее всех добродетелей” [38, с. 516].

В четвертой главе Чичиков обменивается с Платоновым впечатлением, произведенным на них Хлобуевым, которого они посетили: «“Жалок он мне, право, жалок”, сказал Чичикову Платонов, когда они, простившись с ним, выехали от него. “Блудный сын!” сказал Чичиков. “О таких людях и жалеть нечего”» [16, с. 88].

Называя Хлобуева *блудным сыном*, жалости к нему Чичиков не испытывает, занимая позу старшего брата из евангельской притчи, который “не без некоторой гордости своею добродетелью” [29, с. 225]; напомним, что в первом томе “...о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах” [17, с. 17]. Хлобуев, в имени которого царит “беспорядок и запустенье” [16, с. 82], близок евангельскому персонажу не только бездумным расточительством и беспутством, почему и “свинья свиной зажил” [16, с. 79], но и способностью осознать, в отличие от Чичикова (каким он показан в этой ситуации и в этой главе), греховность своей жизни (см.: [24, с. 113–117]). Найти же настоящее “спасение свое” [16, с. 103] он сможет, если возьмется собирать деньги на церковь и тем послужит Богу; правда, выполнить совет монастырского затворника кажется ему “свыше сил”, однако Муразов убеждает его: “Всё свыше наших сил. Без помощи свыше ничего нельзя. Но молитва собирает силы” [16, с. 104].

Изображенные во втором томе судьбы Хлобуева и Чичикова запечатлевают разные варианты и открывают разные пути возвращения к себе (*в самого себя*), но в каждом случае происходит “...сдвиг индивидуальной истории в сторону притчи” [24, с. 118]. Сами же эти индивидуальные истории имеют ряд общих моментов, важных для понимания обозначенного сдвига.

В “тяжелые времена” Хлобуева “спасало религиозное настроение, которое странным образом совмещалось в нем с беспутною его жизнью. В эти горькие минуты читал <он> жития страдальцев и тружеников, воспитывавших дух свой быть превыше несчастий”; вслед за молитвой “почти всегда приходила к нему откуда-нибудь неожиданная помощь... Благоговейно признавал он тогда необъятное милосердие провиденья, служил благодарственный молебен и вновь начинал беспутную жизнь свою” [16, с. 88]. Но в заключительной главе, когда Муразов убедил Хлобуева внять совету схимника, ум его “...как бы стал

пробуждаться надеждой на исход из своего печального положенья” [16, с. 104–105].

Хлобуеву предстоит просить на церковь; Чичиков, следуя совету Муразова, мог бы поселиться поближе к церкви, что было бы для него исходом из его печального положения, к которому вновь приводит героя отсутствие в нем внутреннего центра.

На Чичикова, думающего о том, как произойдет “возрастанье и процветанье имения”, купленного им у Хлобуева, «вдруг вслед за одной мыслью налетела противоположная. “А можно поступить даже и так”, подумал <Чичиков>: “что сначала выпродав по частям лучшие земли, заложить потом имение в ломбард вместе с мертвецами. Можно даже и самому улизнуть, не заплатив даже и Костанжогло”» [16, с. 89]. Стоило Чичикову выйти с помощью Муразова из тюрьмы, как “уже начали ему вновь грезиться кое-какие приманки...” [16, с. 117]. Признав правоту Муразова, что “пора на другую дорогу”, Чичиков вновь шьет себе у того же портного фрак наваринского пламени с дымом, который оказался “...точь-в-точь как прежний. Но, увы, он заметил, что в голове уже белело что-то гладкое, и примолвил грустно: “И зачем было предаваться так сильно сокрушенью? А рвать волос не следовало бы и подавно”» [16, с. 123].

Для Гоголя 40-х годов основой в его понимании человека служит христианская антропология; “исходным пунктом” религиозного сознания, если человек действительно поворачивается душой к Богу, “...является прежде всего новая оценка своего внутреннего мира, новое самосознание” [39, с. 274]. Потому так озабочен и занят Гоголь “...тем злом, которое живет и развивается в душе человека” [39, с. 302]. Ср. в “Выбранных местах”: “Бог вещь, что может быть в душе нашей. Лучше в несколько раз больше смутиться от того, что внутри нас самих, нежели от того, что вне и вокруг нас” [2, с. 345]. Так и зло, живущее в душе Чичикова, не дает ему заново оценить свой внутренний мир. А ведь, казалось бы, Чичиков, обратившийся под влиянием проповеди Муразова *к самому себе*, так близок к повороту на другую дорогу: “Какие-то неведомые дотол, незнакомые чувства, ему необъяснимые, пришли к нему. Как будто хотело в нем что-то пробудиться... Стенанье изнеслось из уст его...” [16, с. 113]. К повороту его души к Богу: “Вся природа его потряслась и размягчилась” [16, с. 115]. Однако поэтика второго тома исключает какую-либо счастливую развязку; пережитое Чичиковым потрясение не означает еще, что нравственный переворот, размягчивший человеческую природу героя, действительно необратим.

Фрак, *точь-в-точь* такой же, как разорванный им в тюремном аду, вновь соединяет Чичико-

ва с его готовностью *улизнуть* и грезящимися ему *приманками*, с тем самым *шумным миром*, покинуть который советует ему Муразов; *разобранное* состояние души героя, выезжающего из города, означает, что в его внутреннем строении нарушен нравственный порядок, что впереди его ожидают новые потрясения и новые кризисы, которые, возможно, и приведут его рано или поздно к Богу. Как верно было отмечено, “архетип блудного сына – идеальная художественная модель человека переходной кризисной эпохи. Она отчетливо просматривается в сюжетной перспективе образа Чичикова...” [24, с. 118]. В случае Чичикова Гоголь усложняет эту модель, делая предельно трудной задачу возвращения героя *домой*, но открывая для него возможность движения в сторону *дома* (ср. мысль преп. Исаака Сирина о покаянии: “...это не только момент, но и постоянный мотив подлинной жизни. Ибо никто еще не выше искушений, и покаяние никогда не может быть окончательным” [40, с. 186]).

Приведем существенное для предпринятого нами анализа суждение: «Символические “сверхсмыслы”, рассматриваемые в “обратной” перспективе (от конца к началу первого тома), на поверку охватывают здесь действительно всё, даже детали как будто бы малозаметные или вовсе незначительные» [15, с. 32]. Сложнее сделать такой вывод, рассматривая *от конца к началу* второй том, оставшийся незавершенным; в дошедших до нас главах символическими “сверхсмыслами” охватываются как раз наиболее заметные и самые значительные элементы образно-смысловой структуры.

Исследователями отмечена роль дидактических тенденций в организации второго тома, повествование в котором ориентировано на традиции учительной культуры (см.: [6, с. 220–223]). Особое место занимала в этой культуре притча, насыщенная дидактикой и символическими смыслами; для понимания функций притчи значимо, что «“мораль” притчи переходит пределы притчи», а ее персонажи предстают “как субъекты выбора и действия” [41, с. 90]. К тому же сама жизнь “похожа на притчу”, о чем хорошо знали и почему любили “описывать жизнь” с помощью притчи “простые люди” [42, с. 33]. Именно к “простым людям” прежде всего и обращался Гоголь во втором томе, стремясь к предельному расширению читательской аудитории: “Нужно принимать в соображение не наслаждение каких-нибудь любителей искусств и литературы, но всех читателей, для которых писались Мертвые души” [2, с. 298].

Акцентируя религиозно-нравственные аспекты сюжета, прибегая к повышенной условности и специфическому схематизму в изображении героев, к символической интерпретации их поведения,

Гоголь стремился, как можно предположить, придать всему второму тому притчеобразную структуру. Это позволяет понять, почему так резко возросла во втором томе роль символики места (и тюремного ада, и “земного рая”, и места как дома души): художественная дидактика должна была перейти здесь пределы и дидактики, и собственно художества, чтобы обратить взгляд читателя к первоосновам человеческого бытия, превратить не только героя, но и читателя (“всех читателей”) в субъекта выбора и действия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронаев В., Песков А. Последние дни жизни Гоголя и проблема второго тома “Мертвых душ” // Вопросы литературы. 1986. № 10.
2. Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. В 14 т. [М.; Л.], 1952. Т. VIII.
3. Манн Ю.В. В поисках живой души: “Мертвые души”. Писатель – критика – читатель. 2-е изд., испр. и доп. М., 1987.
4. Смирнова Е.А. Поэма Гоголя “Мертвые души”. Л., 1987.
5. Гиппиус В.В. Творческий путь Гоголя // Гиппиус В.В. От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966.
6. Гончаров С.А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. СПб., 1997.
7. Лотман Ю.М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
8. Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996.
9. Манн Ю.В. Постигая Гоголя. М., 2005.
10. Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Проблемы структурного описания волшебной сказки // Структура волшебной сказки. М., 2001.
11. Щепанская Т.Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX–XX вв. М., 2003.
12. Григорьев А.А. Гоголь и его последняя книга // Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века. М., 1982.
13. Бочаров С.Г. Загадка “Носа” и тайна лица // Бочаров С.Г. О художественных мирах. М., 1985.
14. Шукин В.Г. Миф дворянского гнезда. Геокультурологическое исследование по русской классической литературе // Шукин В.Г. Российский гений просвещения. Исследования в области мифопоэтики и истории идей. М., 2007.
15. Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (30–50-е годы). Л., 1982.
16. Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. В 14 т. [М.; Л.], 1951. Т. VII.
17. Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. В 14 т. [М.; Л.], 1951. Т. VI.
18. Сазонова Л.И. Литературная генеалогия гоголевской птицы-тройки // Поэтика русской литературы: К 70-летию проф. Ю.В. Манна. М., 2001.

19. *Лотман Ю.М.* Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // *Лотман Ю.М.* В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
20. *Бочаров С.Г.* Вокруг “Носа” // *Бочаров С.Г.* Сюжеты русской литературы. М., 1999.
21. *Лотман М.* О семиотике страха в русской культуре // Семиотика страха. М., 2005.
22. *Гернет М.Н.* История царской тюрьмы. М., 1941. Т. I.
23. *Иоанн Лествичник, преподобный.* Лествица. Троице-Сергиева Лавра, 1991 (репринтное издание).
24. *Гольденберг А.Х.* Архетипы в поэтике Н.В. Гоголя. Волгоград, 2007.
25. *Федосюк Ю.А.* Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века. 4-е изд. М., 2001.
26. *Ефимова Е.С.* Современная тюрьма: Быт, традиции и фольклор. М., 2004.
27. *Толстой Н.И.* Ад // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. 2-е изд., испр. и доп. М., 2002.
28. *Махов А.Е.* HOSTIS ANTIQUUS: Категории и образы средневековой христианской демонологии. Опыт словаря. М., 2006.
29. Толковая Библия. Пб., 1912. Т. 9.
30. *Олейник А.Н.* Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти. М., 2001.
31. *Гоголь Н.В.* Развязка Ревизора // *Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. и писем. В 23 т. М., 2003. Т. 4.
32. *Антоний, митрополит Сурожский.* Беседы о вере и Церкви. М., 1991.
33. *Перлина Н.* Средневековые видения и “Божественная комедия” как эстетическая парадигма “Мертвых душ” // Гоголь как явление мировой литературы. М., 2003.
34. *Антоний, митрополит Сурожский.* О встрече // Новый мир. 1992. № 2.
35. *Мелетинский Е.М.* Литературные архетипы. М., 1994.
36. *Клеман О.* Истоки. Богословие отцов Древней Церкви: Тексты и комментарии. Пер. с фр. М., 1994.
37. Изречения отцов пустыни // От Босфора до берегов Евфрата. Антология ближневосточной литературы I тысячелетия н.э. Пер. С.С. Аверинцева. М., 1994.
38. *Гоголь Н.В.* Выписки из творений святых отцов // *Гоголь Н.В.* Собр. соч. В 9 т. М., 1994. Т. 8.
39. *Зеньковский В.* Н.В. Гоголь // *Гиппиус В.* Гоголь. *Зеньковский В.* Н.В. Гоголь. СПб., 1994.
40. *Флоровский Г.П.* Восточные отцы V–VIII веков. Париж, 1933.
41. *Аверинцев С.С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
42. [Аверинцев С.С.] От берегов Босфора до берегов Евфрата. Литературное творчество сирийцев, коптов и ромеев в I тысячелетии н.э. // От Босфора до берегов Евфрата. Антология ближневосточной литературы I тысячелетия н.э. Пер. С.С. Аверинцева. М., 1994.